

# НАТАЛИЯ КУРЧАТОВА

## Простудиться в Мариуполе

Непридуманные рассказы

### Простудиться в Мариуполе

В марте в ковидной реанимации Балаклавской больницы города Севастополя умерла моя мать. Попрощаться у нас не получилось: я приехала из Донецка в тот день, когда её госпитализировали. Брат определил мне для сна кровать, на которой до этого спала мама. Сама я переболела вирусом ещё летом прошлого года, да в этих обстоятельствах никто и не думал о мерах санитарной защиты.

Получив известие, мы готовили вещи маме в гроб. Брат достал из шкафа пакет с её одеждой.

— Это грязные. Я не стирал. — Он прижал её блузку к лицу. — Мамой пахнет.

Я взяла у него блузку. Она ничем не пахла.

После отпевания и кремации я уехала обратно в Донецк, а затем — на военную базу под Мариуполем.

В первый раз мы заехали в город в последних числах марта. Квартал, к которому на скорости подскочили две машины с военными и журналистами, был только что оставлен противником, в домах обширного частного сектора сразу за группой многоэтажек ещё могли находиться снайперы. Командир нервничал из-за опасного сочетания вражеских снайперов и гражданских, в том числе двух корреспонденток, в зоне его ответственности. Мы быстро пересекли открытое пространство между побитым домиком автосервиса у дороги и первыми высотками. Под ногами хрустело битое стекло. День был яркий, солнечный. На фоне яростно-голубого неба торчали обугленные многоэтажки. В средней теплилась жизнь: две семьи, которые отказались от эвакуации, два кота и овчарка. На улице припекало весеннее солнце, но в квартире было холодно: все обитатели в тёплой одежде, девятилетняя девочка в курточке

и шапке с помпоном. Говоря с нами, она прижималась почему-то к соседке, а не к матери. Та стояла рядом, приложив ладонь к груди. Она единственная из маленькой коммуны была ранена, остальных обошло каким-то чудом. Возможно, ощущение этой квартиры как чудесного убежища, стены которого укрыли их среди стихии войны, удерживало людей от решения выехать.

— Холодно тут у вас... Буржуйку вам привезём и поставим, если не возражаете, — предложил командир.

Обитатели квартиры дружно закивали.

— Доставишь Арину к матери. Её в больницу увезли на днях: оказалось, в ране оставался сердечник от пули, — сказал командир, вызвав меня в штаб через неделю или около.

Мать Арины встретила нас в медпункте военной базы в Донецке. Она всё ещё прижимала руку к груди, но сейчас привлекла к себе дочь и прижала её тоже. Я представила продолговатый стальной сердечник, как он сидит в груди, словно осколок зеркала Снежной королевы, и подумала, что, возможно, мать боялась передать дочери его холод.

Через несколько дней ехали со съёмочной группой в другой район города. На этот раз было пасмурно, на подъезде к Мариуполю поднялся свежий приазовский ветер. Он таскал по улицам горелую пыль, присыпая ею робко зацветающие абрикосы.

Машина остановилась на улице частного сектора, по виду почти не пострадавшего. Рядом волонтеры раздавали еду и воду, к их автомобилю потянулись жители.

— Вы продаёте консервы? Сколько стоит?.. — спросила женщина.

— Нисколько! Гуманитарная помощь! Бесплатно! — радостно отозвался британец Грэм.

Люди тоже заулыбались, сама собой образовалась очередь.

Из проулка вышел интеллигентного вида дед, встал, опираясь на трость. Смотрел на людей, толпящихся у машины, будто не совсем понимая, на каком свете он находится. Я собрала в пакет бутылку воды, хлеб, консервы, яблоки и подошла к нему:

— Возьмите, пожалуйста.

Дед перевёл на меня свой странный взгляд:

— Меня зовут Василий Семёнович. Пойдёмте, я покажу вам свой дом.

Мы шли по проулку, пакет болтался в руке Василия Семёновича и мешал ему, с его палочкой, идти. Раз яблоки чуть не высыпались. Я забрала у деда пакет. Тот будто очнулся:

— Еду надо к соседу занести. Я живу у соседа.

Мы зашли к соседу. Дом был побит. Василий Семёнович сначала поставил пакет на землю и начал искать, чем бы его прикрыть, — вокруг вертелись собаки. Не нашёл, поковылял дальше, отворил дверь жилья. Это была по виду летняя кухня. Поставил пакет внутрь и закрыл дверь.

Мы вышли со двора. Прюлок тянулся дальше, от нашей машины уже кричали: надо было ехать.

— Я хочу показать вам свой дом, — повторил Василий Семёнович.

Я повертела рукой: мол, сейчас вернусь. Мы пошли дальше по улице. Я торопилась.

— Осторожно, — сказал Василий Семёнович, на миг выйдя из своего сумрака, и ткнул тростью в сторону автомобильной крыши, которая лежала посреди дороги. На боку крыши была надпись мелом: «Мина».

Дом Василия Семёновича оказался сразу за этой крышей.

Лучше всего сохранился забор.

На участке валялись брошенный гранатомёт и болванки снарядов.

В дом мы зашли через пролом на месте двери, сама дверь лежала краем на крыльчке, другим — в землю, будто хлопнулась в обморок. По этой двери мы залезли в дом. Я пыталась помочь старику, он отказался:

— Я тут всё знаю, как идти. Вы смотрите под ноги.

Крыши у дома не было. Он был словно кукольный домик, у которого сняли крышу, чтобы сделать перестановку, но что-то пошло не так, и раздосадованный ребёнок разломал дорогую игрушку. Да ещё и поиграл со спичками: внутренности жилья были обуглены. Через груды кирпича мы залезли, видимо, в гостиную, которую здесь называют залом. Рядом — проём в спальню, где одни спёкшиеся угли.

— Сюда попал зажигательный снаряд. — Василий Семёнович указал мне тростью в угол комнаты. Там действительно лежала развороченная оболочка боеприпаса, похожего на танковый. — А здесь спала моя жена. — Трость ткнула в место у стены. Там ничего не было. Просто пепел.

Мы стояли молча. По идее, мне следовало спросить у Василия Семёновича, чей был снаряд, кто стрелял. Но было понятно, что для старика это не имеет никакого значения.

— Я к ней не смог пробраться, — сказал он. В голосе не было острой вины — скорее растерянность.

Я подумала, что и это не имело значения: практически сто процентов, что от взрыва в такой близости женщина погибла мгновенно.

Ветер захлестнул откуда-то сверху и принёс горсть неожиданного апрельского снега. Приморский регион — здесь, как и у нас в Питере, погода меняется как по волшебству. Белые мухи снега смешивались с хлопьями гари. Я поёжилась.

— У вас есть родственники в России? — Канал, на который я работала, делал истории о воссоединении семей. А Василия Семёновича попросту нужно было вывозить из его сгоревшего дома — и хорошо бы, у него оказались родственники.

— У нас дочери, одна — в Питере.

Он по-прежнему говорит «у нас», отметила я.

Елену, дочь Василия Семёновича, мы нашли не по соцсетям, а по телефонной базе учреждений — с этим помогли друзья. Мы созвонились с нею и передали видео от отца. Канал обещал помочь с эвакуацией Василия Семёновича, а также запросил разрешение на съёмку. Елена сначала отказывалась: «Понимаете, я бы не хотела, чтобы папа рассказывал всё это... журналистам и снова это переживал...» Я не стала говорить ей, что Василий Семёнович уже рассказал всё это журналисту.

Пока продюсер улаживал вопросы с приездом дочери, я вернулась на военную базу под Мариуполем.

— У вас насморк, — отметила фельдшер Оксана.

— Простудилась в Мариуполе.

— Да нет, похоже на что-то аллергическое. Или последствия ковида. Запахи чувствуете?

— Там же всё горело. И трупами пахнет, — сказал боец, ожидавший перевязки.

Мне не пахло. В один из дней военные эвакуировали из подвала два полуразложившихся тела украинских солдат, убитых своими же. И в том подвале я чувствовала только холод и сырость.

На Пасху из Питера в Донецк приехала дочь Василия Семёновича. Мы погрузились в две машины и отправились за её отцом. Елена смотрела из окна на полуразрушенный город своего детства и производила обиходные названия районов, не совпадающие с административными: какой-то «Пентагон», что-то ещё. У нас в Петергофе тоже был «Пентагон» — так называли здание, строившееся для военного НИИ и заброшенное после развала Союза. Тот «Пентагон» — голые кирпичные стены, обвалившиеся лестничные марши — очень напоминал Мариуполь сейчас. Отложенная на тридцать лет гражданская война. Или же — тлевшая всё это время?

Машины остановились в проулке, не доезжая до опасной крыши. Продюсер, ведущая, операторы высыпали из автомобилей. Елена стояла и смотрела в конец улицы. Солнце очерчивало силуэт пожилого мужчины, опирающегося на трость. Василий Семёнович шёл нам навстречу. Вернее, к ней. К дочери.

У Елены дрогнули плечи, раз и два. Я приобняла её, пару шагов мы прошли вместе, но затем она пошла быстрее, а я остановилась. Операторы схватили камеры.

«Наверняка скажут: очередная постановка российских пропагандистов», — подумала я. Зелёная уже улица, из куп деревьев тут и там торчат неровные края разбитых домов, светит солнце, люди, не чаявшие увидеть друг друга, идут навстречу, сближаются, падают в объятия.

На самом деле в отсутствие мобильной связи мы даже не могли предупредить Василия Семёновича, что приедем; просто обещали ему, что это произойдёт.

Обратно ехали быстро. Машина оставила за бортом пятна развалин и ряды уцелевших кварталов, промчалась по «дороге смерти», на которой ещё стояли обгоревшие остовы гражданских машин, а в поле вдоль неё валялись куски боевой техники: отдельно башни танков, отдельно гусеницы, и в свежей изумрудной траве зияли воронки. Пересекли последние посты и оказались в «старой» части Донецкой Республики, где рубцы войны уже подзаросли; война покатилась дальше. Шоссе пошло среди туннеля зеленеющих акаций и грецкого ореха, перемежаемых белыми тополями. Мы остановились, чтобы Василий Семёнович мог размять ноги. У дороги стоял указатель: «Заповедник Хомутовская степь». На высокой акации сидел орёл.

— Ко мне возвращается жизнь, — сказал отец — дочери.

— Ты говори громче, я плохо слышу! — смеётся Лена.

— Меня надо подстричь! — почти кричу я на весь женский кубрик во временном расположении части, который мы делим с медиками, связистками и с Леной, по мирной профессии парикмахером.

Лена — маленькая женщина с весёлым полудетским лицом. Ни за что не скажешь, что у неё двое взрослых сыновей, оба — военные. А ещё Лена — вдова. Её муж, командир роты разведки, был тяжело ранен на передовой несколько лет назад, скончался в реанимации.

— С тех пор я плохо слышу. Сначала вообще как отрубил — видимо, после этого известия не хотела слышать ничего... Потом, постепенно...

Лена быстро стрекочет ножницами над моей головой, затем взбивает мне волосы лёгкими пальцами, будто по голове бегают маленькая птичка. И щебечет. Семь процентов людей напрягаются от прикосновений; я — из них. Но руки Лены не напрягают — наоборот, будто снимают с головы привычную уже тяжесть. Она достаёт баллончик и пшикает, укладывая мне волосы. Я чувствую сильный косметический запах.

## Псы войны

— ...А не смущает, что эти собачки наверняка уже человечины попробовали? — спрашиваю командира части, крепкого кривоногого человека хорошо за сорок с суровым, даже мрачноватым лицом.

Сейчас командир добродушен и треплет по ушам трёх беспородных бобиков, прибившихся к пункту управления в заброшенном ангаре. Один из псов, молодой чёрный кобель, игриво прихватывает ласкающую его руку сахарными зубами.

— Ишь, погрызть меня пытается! — смеётся офицер, затем отвечает на мой вопрос: — Они же животные, чем они виноваты?..

Город почти полностью контролируется войсками России и Донецкой Народной Республики, где-то уже налаживается жизнь, но смертью он всё равно насыщен до такой степени, когда чувствительность к ней приглушается. Военный внедорожник останавливается на углу двух улиц, дальше — завал из сторевших боевых и гражданских машин, неразобранная оборонительная баррикада. Водитель Валера, в прошлом — кинолог,

по совету старшего группы, Юрия, загоняет автомобиль под прикрытие домов:

— На самой улице не ставь, видишь, она просматривается до самого завода... Заптурить<sup>1</sup> можно только так.

Выскакиваем: невысокий лёгкий Валера с рокерской бородкой, статный Юрий и я. У мужчин на плечах автоматы: этот район освобождён, но зачищен не полностью, к тому же он прилегает к тому самому заводу «Азовсталь», крепости украинского нацполка «Азов». Улица, на которую мы вышли, ведёт к заводу, она так и называется — Азовстальская. В её створе мы видим характерный рисунок труб предприятия: вид, в последние недели примелькавшийся в новостных лентах. Штурм «Азовстали» был отменён с неделю назад, с тех пор продолжается планомерное подавление обороняющихся там. К нашей задаче это не имеет прямого отношения; несколько дней назад мы с коллегой выяснили, что на этой территории, куда пока не доезжают ни волонтеры, ни МЧС, остаются одинокие старики, нуждающиеся в эвакуации. Нам нужно объехать ряд адресов, узнать количество людей и взять у них согласие на выезд.

Осторожно движемся вдоль дома по тропинке, проложенной местными жителями, — в кучи мусора и поднявшуюся уже траву лучше не наступать, там могут лежать неразорвавшиеся боеприпасы или скрываться растяжки. Нам уже рассказали, что «азовцы», закрепившись в жилых домах, минировали подходы к ним. Сейчас их выбили, но мины — мины остались. И до сих пор во дворах лежат мёртвые тела. Одна такая группа уже примелькалась мне за несколько последних поездок: два мертвеца частично прикрыты, верх — листом железа, низ — тканью. Посередине — жёлтый мужской живот между резиновой трусов и задранной курткой. У второго покойника из-под покрова торчит почерневшая обгрызенная рука. Вокруг шныряют вездесущие собаки. Юрий, бесстрашно осмотрев один двор, — я бы не решилась ходить по грудам веток от расщеплённых деревьев и завалам кирпича, — ровно говорит:

— Я насчитал двадцать тел.

У одного из обитаемых подъездов видим чёрного питбуля, худого, как рентгеновский снимок. Собака привязана. Валера приседает на корточки, пёс обнимает его лапами и скулит. Из подъезда выходят жители.

---

<sup>1</sup> Заптурить — выпустить по объекту ПТУР, противотанковую управляемую ракету.

— Привязали, чтобы человечину не ел, — объясняет немолодой мужчина. — Собака эта соседская, они уехали и бросили его. Но пёс хороший. Может, вернется ещё за ним.

Рядом наискось лежит сетка от панцирной кровати, с одной стороны она опирается на палку, к палке привязана верёвка. Это ловушка для голубей. Пойманных птиц долго вываривают и едят, требуха достаётся собаке.

— Как бы не погиб он у вас, — говорит Валера, вытирая псу сопливую, будто заплаканную, морду.

Едем с Валерой в город за провизией, заодно нужно зайти в ветеринарную аптеку и купить капли для молодого стаффордшир-терьера, прибившегося к бойцам: собаку по первой зелени заели клещи.

— Ошейник пока не будем покупать, — говорит Валера. — Это он сейчас такой умученный, а так то и дело с другими кобелями дерётся. Ошейник в собачьей драке может и придушить. На днях тут залез на территорию какой-то пёс, они схватились — только шерсть летит! И, представь, мужики наши, которые воюют не первый год, всякое видели, в том числе разобранных людей, при виде двух грызущихся псов смешались...

— Пролети ещё над этим проездом. Стоп! Что это? — говорит Тоха Хазару.

На мониторе телефона — видео с беспилотника, барражирующего над территорией завода «Азовсталь». Я стою рядом и уже вижу, что это собаки. Вьются возле одного из промышленных корпусов.

— Если есть собаки, то могут быть и люди, — предполагаю я.

Они всегда тянутся к людям — живым ли, мёртвым. В ангаре, около которого работает аэроразведка, собралась уже целая стая: к трём утренним бобикам прибавилось ещё несколько, в том числе огромный добродушный маламут.

— Может, и человечину ели, но теперь они у нас суп едят и кашку, — говорит командир.

Приближается время обеда. Скоро сюда приедет полевая кухня. Псы уже знают время и ждут, что люди, сородичей которых им приходилось недавно есть, поделятся с ними остатками своей трапезы.

Мир, надломленный войной, обнажил своё первобытное начало: люди истребляют друг друга, собаки приходят к ним за куском.

— ...Сучечка, миленькая, ей рожать пора, вот она и пришла. — Высокий боец в «горке» присел на корточки возле желтоватого окраса собаки с раздутым животом, гладит её по голове. На улице холодно, идёт дождь, собака пробралась в казарму, вскарабкалась по ступенькам на площадку лестничного марша и устроилась там. — Сейчас я тебе тёплого принесу.

Боец уходит и возвращается с ворохом тряпок, обустривает собаке лёжку.

— Она же мать, она же со-ба-ка... Безвинное существо. Люди бьются, убивают друг друга, а ей нужно родить детей и выкормить. У меня дочь взрослая в Авдеевке под укропами, а сыночек — в Ясиноватой. И вот они пуляют по моему сыну, а мы, так получается, должны пулять в ответ. По дочери моей, может быть! И так всю войну. Вот что это?! А собака — бедная, добрая... Она знает, что мы её не обидим. Не бойся, миленькая. Сейчас я тут у решётки ещё подоткну, чтобы твои кутята с лестницы не свалились. — Он скатывает валиком тряпку и закрывает ею просветы между прутьями. — Мокрая вся, дрожит, боится. Не бойся, милая. Всё будет хорошо.

Мимо идут девочки-военфельдшеры.

— Дуб, а Дуб... ты у неё роды, что ли, принимать собрался?

— А что, и приму!

— А ты подумал: вот она родит, щенята начнут ползать по казарме, потом — лужицы, погадки. Что нам на это командование скажет?

— Я договорюсь.

Вскоре возле ложа собаки собирается целый консилиум. Появляется идея сколотить будку во дворе располагии и определить псицу туда, чтобы не нарушать военный быт. Зовут Валеру. Тот говорит, что будку сделать, конечно, можно... Наконец кто-то догадывается осмотреть собаку.

— Что-то у неё соски совсем не набухшие, — с сомнением говорит Валера.

Они с военфельдшером Оксаной щупают суке живот.

— Не чувствую никакой предродовой активности... — сообщает Оксана.

— Значит, она заранее готовится! — утверждает Дуб. — Я не дам её на улицу выгнать... — горячится он. На глазах у здорового мужика выступают слёзы.

— Да не беременная она, просто жирная, — наконец заключает Валера.

Военные стоят вокруг хитрой суки, та уютно устроилась на принесённых тряпках, довольно прикрыла глаза и сопит.

— Тьфу ты, — говорит Дуб. — Ну, лежи тут, пока дождь.

## Расскажи, как я взял Мариуполь

«Напиши мне потом, как живому, письмо... Напиши, что я взял Мариуполь», — я читаю это стихотворение Дмитрия Мельникова, находясь в Севастополе, в то время как знакомая мне воинская часть уже выдвинулась на подступы к «Марику», как называют Мариуполь дончане между собой.

«Хреновое какое пророчество», — думаю я, сохраняя стихи в избранное. Стих, впрочем, великолепный.

Неделю спустя мы с военными медиками батальона ожидаем на перекрёстке машину с ранеными. В створе улицы прифронтового посёлка урчит грузовик. Невысокий щуплый мужчина лет тридцати пяти — сорока слетает с борта военного «Урала», словно воробей. За ним пружинисто прыгает напарник — повыше и помоложе.

— Тарком! Добрый! — отвечают они в ответ на просьбу назвать их имена.

Оба они с полчаса назад вышли в буквальном смысле из огня. Неприятель зажёг бронейно-зажигательными сначала третий этаж здания, где они закрепились, — «там лежали наши вещи», а «вещи» для бойца — это не какой-то левый хабар, это рюкзаки с пайком, водой, сидушки-«пеножопы», иногда — снятые разгрузки («броник снимать запрещено, разгрузку — можно»). Потом зажгли этаж четвёртый, и вскоре уже полыхала лестница.

Странно: чему в бетонной многоэтажке гореть?.. Но она горит.

Отделение спускалось по внешней стене, цепляясь за балконы и кондиционеры.

— Вот, руки изрезали, — улыбнулся Тарком. У обоих руки в бинтах, варежками. — Я до войны работал промышленным альпинистом — пригодилось, — снова улыбка.

Машина военной «Скорой» отвезла бойцов в больницу Новоазовска. В больнице они не остались, вернулись в строй.

— Тарком — это потому, что у нас до войны была команда спортивная, называлась «Тарзан». Я был капитаном. Тарком — это «Тарзан-команда» сокращённо. А так меня Виктором зовут. Я с Херсонщины, заповедник Аскания-Нова, слышали?..

Я слышала, мне мама рассказывала. В молодости она работала в геологических партиях и много ездила по всяким неочевидным местам. Работала в том числе на Земле Франца-Иосифа, где отморозила зубы. И было два места, куда она хотела когда-нибудь вернуться, ну, кроме родного Владивостока: озеро Иссык-Куль в Киргизии и заповедник Аскания-Нова, с девяносто первого года — под Украиной. Мама умерла в начале марта в Севастополе, как раз в те дни, когда российская армия заходила в Херсонскую область.

Сейчас Херсон со своей Асканией-Новой уже взяты, союзные силы Донбасса и России квартал за кварталом берут Мариуполь, стремясь на соединение с занятыми землями Запорожской и Херсонской областей. Мы с Таркомом курим на крылечке расположения части, на двери висит бумажка с надписью: «Джентльмены, не хлопайте дверь!» Мимо нас то и дело проходят донецкие джентльмены в форме, в основном шофёры — чумазые, с привычным меж собой матерком. При виде меня они свой матерок прибирают; иной даже, застеснявшись, хлопнет себя по губам ладонью в грязи и смазке. Действительно джентльмены.

Тарком не матерится вовсе, речь его проста и правильна. У него несколько военных специальностей, в роте числится по минно-подрывному делу, но ходит вместе со штурмовыми группами.

— ...Опыт есть разнообразный, и лучше я, чем кто-нибудь другой. А как вас-то занесло из Питера?

— Донецкие степи нравятся, — подхватываю лирический тон.

— ...Когда вы говорите: «Ах, донецкие степи!..» — это значит, вы не видели настоящей степи. Как у нас на Херсонщине. Она — ровная, как стол, трава до горизонта, маки алые, и пасутся лошади.

Виктор мечтательно затягивается сигаретой. Из Херсонской области он перебрался в Мариуполь, там его и застала война — не та, что началась для всех 24 февраля, а та, что началась восемь лет назад, весной 2014-го. В Мариуполе Виктор жил с женой и дочерьми. И в Мариуполе осенью четырнадцатого года был арестован украинской СБУ.

— «Мариупольские партизаны», слышали? — Голос его становится глуше. — Так вот, это мы.

В плену он пробыл пять лет.

— Я начал писать об этом... что-то вроде книги. Потом поставил точку и перестал. Подумал: возможно, нормальным людям не стоит о таком знать.

— ...Вообще Вите дико повезло, что СБУ не отдала его «Азову» и он не попал в эту их «Библиотеку» в мариупольском аэропорту. Потому что там ломали так, что человека не оставалось... Я видел одного парня, прошедшего «Библиотеку». Он был сломан совершенно, не человек, а его тень. А Виктор был нормальный, дельный боец. — При этих словах мне слышится голос Таркома. — Когда они выводили нас и имитировали расстрел, мы после всего просили расстрелять нас по-настоящему.

— Вот, смотрите... Мы выдвигались к этому кварталу несколько раз. Пробовали пешком — ранило тогда моего непосредственного командира, а мне пулей по касательной вскрыло каску, кевлар раскрылся, как раковина... Потом на «бэхе»<sup>2</sup> наш взвод заехал на левую «девятку», там уже находились ребята из группы Люгера. И мы начали работать по центральной «девятке», нам нужно было туда перебраться, чтобы отсечь «правую проблему» — это правую «девятку» мы так называли, оттуда по нам вели плотный огонь. Мы вспомнили репортажи из Сирии, как там бойцы передвигались под прикрытием ковров... и накидали на верёвку ковры из разгромленных уже квартир, так и перебрались в центральный дом. Не знаю, насколько это... поспособствовало, но задачу мы выполнили. — Тарком снова улыбается, показывая рукой в тактической перчатке на квартал девятиэтажек, недавно взятый штурмом. В центральной девятиэтажке, куда они перебрались, укрываясь за коврами, их и зажгли.

---

<sup>2</sup> На военном сленге — БМП, боевая машина пехоты.

При улыбке на худых щеках Таркома обозначаются весёлые чёрточки — у девушек и детей их ещё называют ямочками; какое-то особое строение мимических мышц.

Конец марта, но солнце слепит нещадно. Приазовское небо — словно голубая эмаль, резкий ветер взметает белёсую пыль и хлопья сажки. Белое солнце резко очерчивает скелеты домов. Белое солнце пустыни выжженного города. Ещё и ковры эти.

«Бэха» заводится, бойцы вскакивают на броню. Квартал за «девятиками» ещё не зачищен, они едут туда, мы на машине военной медслужбы — за ними. Через лобовое стекло я смотрю, как покачиваются на броне фигуры бойцов. «Бэха» заворачивает в проулок, ребята ссыпаются с брони, наша машина проезжает дальше — в те улицы, где зачистка уже произошла.

— ...Что касается того случая при штурме с Виктором, то это была нормальная боевая работа, — скупко говорит командир части.

«Не было ошибки, тем более долбо...изма», — слышится между строк.

Дней пять я отсутствовала на базе; когда вернулась, уже знала, что в батальоне «двухсотый».

— Сапёр погиб: брали здание, что-то пошло не так, — сказал один из ребят, куривших во дворе.

«Сапёров не знаю... только медиков, водителей и штурмовиков», — со стыдным облегчением подумала я.

Назавтра была Страстная пятница. Утром мы шли с военфельдшером Галей по притихшему селу в окрестностях Мариуполя, куда ещё в марте перебросили часть. Село по-старому называлось Крещатицкое, по-новому — Красноармейское; и так и этак хорошо. В последние дни Страстной весна будто погасла и село насупилось; белая казачья церквушка у дороги приняла оттенок сумрачного неба. Вспоминается родной Север, где в древнем Пскове белые домосковские храмы накануне Пасхи стоят будто посеревшие от горя.

— Знаете, Наташа, я всё не могу отвязаться от мысли. Вот кого-кого... а не думала, что Виктора убьют. Он такой спокойный был, опытный. До войны в Мариуполе жил, немного до своего дома не дошёл, вы знаете?..

— Витю Таркома убили? — У меня садится голос.

— Да, а вы не знали?..

Взяли первый этаж, второй был тих, Тарком вышел в лестничный пролёт. Пуля прилетела сверху, точно в каску и на этот раз не по касательной.

Старый казачий храм Святого Александра Невского в селе Красноармейском печально звонит в серое небо. После службы мы возвращаемся в расположение, вдоль дороги в изумрудной траве возлежат упитанные рыжие коровы. Я ухожу на спортплощадку; там, на краю футбольного поля, — поваленное дерево: кора давно сползла, ствол серебрист и отполирован дождями, ветром и задами болельщиков. Присаживаюсь и щёлкаю заметку в телефоне, ту самую, с хреновым пророчеством: «Я не умер, я сплю, и к моим сапогам подступает Азовское море»...

Несколько дней спустя наша машина идёт по бульвару Меотиды, газон по правую руку утыкан табличками «мины» — ещё накануне их не было, а сегодня здесь уже прошли сапёры. В створе улицы открывается другой бульвар, с променадом. Долго-долго он тянется вдоль высокого берега, за которым открывается голубеющая морская гладь.

## Морской бульвар

— ...Наш дом угловой, видите? — Мужчина в трениках, с всклокоченными пегими волосами — не разберёшь, то ли седина, то ли просто пыль — обернулся к длинному жилому зданию в чёрных подпалинах пожара. — И они... люди, когда они выходили, когда бежали из города, все шли через наш двор. И с Комсомольского бульвара, и с бульвара Двадцатипятилетия. Многие оставляли у нас своих стариков. Да что я! Они их попросту бросали.

— Живых?

— И живых, и мёртвых. — Голос мужчины перешёл на шёпот. — Но и некоторые живые потом умирали. У нас там четырнадцать могил, видите, у забора? Пойдёмте, я покажу.

Я проследила за его взглядом. У забора, в поднимающейся зелени, торчал ряд тонких крестиков, сработанных из белых реек.

— Первые тела у нас появились после пожара. Мы их вынесли во двор и положили там, где детская площадка, — продолжал мужчина. — И тут зашли чеченцы. Говорят: «Что это у вас тела во дворе? Не

по-христиански». Нам стало стыдно: чеченцы учат нас христианству. И мы начали создавать этот... некрополь. Пойдёмте, я покажу, — настойчиво повторил он.

За месяц поездок в разрушенный город таких могил я видела множество. Поэтому больше беспокоили живые; а пока я стояла и смотрела на этот пробуждаемый весной южный двор. От эффектной сталинки в торце осталась лишь коробка, сиротливо торчали колонны щегольской террасы, сквозь проёмы было видно синее небо: задняя стена здания местами обрушилась. Старая акация на краю двора побита осколками, из ствола выхвачен кусок. Дерево при этом зеленело. «Может, и выживет», — сказал один из военных нашей группы. «Вряд ли», — подумала я; рана в стволе была глубокой: срезан луб и отколот кусок сердцевины.

— Кого-нибудь из стариков вам удалось вы́ходить?

— Да. За некоторыми потом приехали. Сейчас осталась одна женщина... ей за восемьдесят, но она помогала нам других выхаживать. А кого вы́ходить не смогли — обмывала и обряжала тоже она.

Женщина, баба Нина, сидела на крылечке одной из парадных, опираясь на клюку.

— Доця, говори голоснише, я чую вже похано... — сообщила она на мове.

Родные бабы Нины были, как я поняла, в Запорожской области, в Мариуполе оставался несовершеннолетний внук, но его вывезли в эвакуацию ещё в марте, и она не знала куда. Из речи бабы Нины следовало, что вся её родня — прекрасные люди, но Виталий — так звали мужчину с пыльными волосами — «просто золото, а не мужик». Было ясно тем не менее, что ни её украинская родня, ни мальчик за нею в ближайшее время не приедут.

— Будем вас вывозить к российским врачам, если согласитесь, — предложила я.

— Да? Годно... А як це буде?

— Вот товарищи военные помогут. Приедем в следующий раз на большой машине и заберём вас.

— Годно, годно... Согласна.

Другая украинская старушка, Клавдия, из дома на полкилометра ближе к заводу «Азовсталь», выезжать тогда отказалась. Она тоже долго перечисляла свою родню: дочка под Волновахой, родные в Запорожской

области и под Винницей, а потом раскололась: «Унучка у мене здесь... их выгнав с будинку “Азов” и погнав их на завод. Буду чекати...»

Машина военной «Скорой» идёт по длинной улице над морем, впереди — джип сопровождения. Водитель Валера смотрит в заранее загруженную карту:

— Что-то не вижу здесь Комсомольского бульвара, только Морской.

— Это он и есть, — отвечаю я. — Посмотри налево — как ещё может называться такая улица?..

Редкий случай, когда украинское название периода борьбы с советским прошлым соответствует, пожалуй, больше. Потому что море здесь — вот, голубеет. А комсомольцев никаких не видно — только беспомощные старики и Виталий, их ангел-хранитель. Даже и военные донецкого батальона «Восток», которые взяли на себя труд спасения — легко и чётко, как всё у них, — в большинстве люди за сорок: военфельдшер Оксана со скулами как у Марлен Дитрих, улыбчивый водитель скорой Константин, кинолог Валера с рокерской бородкой и Юра, у которого даже позывной — Старец.

— Не надумали ехать? — спрашиваю бабу Клаву.

Она сидит на крылечке и щурится на солнце, пока Оксана терпеливо объясняет через дверь её лежачей соседке, бабе Гале, что в российском медицинском центре её никто не обидит. Баба Галя лишилась ног в ходе боевых действий, когда «Азов» оборонялся в их доме, предварительно проделав гранатомётом проломы в стенах квартир, чтобы не выходить лишний раз под обстрел наступающих. Квартира бабы Гали — из тех немногих, какие не затронула «перепланировка» боевиков, не тронули и обстрелы.

— Она странноватая, — сказала мне единственная молодая, к пятидесяти, соседка, Валентина. — Даже от нас закрывается всегда на ключ, хотя мы её кормим.

Сейчас наш военфельдшер Оксана стоит у железной двери бабы Гали и упрашивает её подползти к двери и открыть её. Наконец раздаётся лязг: баба Галя подползла изнутри, подтянулась и повернула ключ. Женщину кладут на полевые носилки. Соседи говорят ей, чтобы оставила им ключ и они за квартирой присмотрят. Баба Галя шарит по всем карманам — ключа нет.

— Наверное, выпал, — говорит она.

Валентина ищет в квартире. Там его тоже нет.

— Закройте и оставьте соседям ключ... ну или дайте нам, мы закроем и отдадим его вам, — предлагаю я.

— Ох, нет ключа... Потеряла, наверно, — сокрушается баба Галя.

Я понимаю, что ей не хочется оставлять квартиру открытой, но и признаться, что ключ она запрятала от соседей где-нибудь в нижнем белье, тоже неловко.

— Бабушка Клава, не надумали ехать? — спрашиваю ещё раз, когда носилки с лежачей уже уплывают в сторону машины: с одного конца взялись Константин и Валера, с другого — высокий тренированный Юра Старец. Позади идут фельдшер Оксана и Настя — моя коллега, журналист.

— Яки гарны хлопцы! — говорит баба Клава, провожая их взглядом. — И вы, донечки, тоже гарни... Але мени унучку чекати.

Я прощаюсь и оглядываю этот двор. Здесь нет «золотого мужика» Виталия, поэтому трупы до сих пор лежат на солнце: кого убило обстрелом, кто подорвался на растяжках, которые расставили «азовцы» с уличной стороны жилых домов. Мы сами в первый приезд едва не поймали такую.

Фоном грохочет артиллерия; штурм завода «Азовсталь» отменён, в том числе из-за гражданских, которые могут оставаться там, как внучка бабы Клавы с мужем и правнуком. Но арта продолжает давить огневые точки «Азова» на подступах. Благодаря этой «работе» двор бабы Клавы уже несколько дней не обстреливают с «Азовстали», но мне даже не хочется представлять, чем отзывается в её сердце каждый наш залп по заводу...

Май месяц, зелень над руинами кварталов, прилегающих к заводу, распустилась и светится на солнце — листва побитых деревьев иступлённо вырабатывает хлорофилл. Мы с военными доезжаем до бабы Клавы, которая так и сидит на крыльчке, ожидая «унучку» с мужем и ребёнком, и отправляемся дальше — по адресам оставленных стариков. Всех вывезли волонтёры и МЧС: кого — пару дней назад, кого — вчера, кого — буквально час назад.

— Одну женщину пожилую не успели... ни они, ни вы, — говорит нам, судя по выговору, россиянин в форме. Их опорник — в соседнем от бабы Клавы доме. — У неё ноги были раздроблены осколками. Все

в чернях уже. Её кто-то застрелил, в голову. Я так понимаю, из последнего милосердия...

— Кто застрелил?

— Мы не знаем. Кто угодно. Оружия здесь до жопы.

Я закуриваю, и мы идём дальше, всё ближе и ближе к «Азовстади». Туда, где деревья не распустились, от них только обугленные остовы торчат.

Находим коммуны гражданских, которые поселились в подвале школы. Школа — относительно целое здание в округе, все остальные или превращены в обгоревшие коробки, или попросту снесены артогнём.

— Старые, больные на эвакуацию есть? — спрашиваю я и осекаюсь.

Командир уже пару раз выговорил мне за командный тон с гражданскими: «Ты даже интервью берёшь таким тоном, будто допрашиваешь их... А они и так натерпелись. И они должны понимать, что мы освобождаем их, что мы — за них, а не как-то иначе...» Сам он может повыситься голос на своих, на меня в том числе, но с мирными разговаривает на удивление мягко. Моя же манера, я отдаю себе в этом отчёт, обусловлена попыткой приглушить естественную эмпатию — иначе трудно выполнять задачи... да можно попросту сбрендить.

Сейчас же мне прилетает не от командира, а от интеллигентного пожилого мужчины с бородкой, старосты коммуны:

— Вы опоздали... Пять старушек у нас умерли, ещё троих вывезло МЧС.

— Сейчас что-нибудь нужно? — спрашивает Валера.

— Сейчас у нас ваши рядом стоят, они помогают. Спасибо.

В здании школы действительно расположился ротный ПВДЗ, в бочке горит огонь, греется котелок с тушёнкой. Здесь есть даже хлеб — основная ценность в разбитом городе наряду с водой и лекарствами.

— У нас раньше и украинцы тут были, — продолжает староста мирных. — Они... — Он замолкает.

— Что они?

— Парня одного нашего расстреляли, из соседнего подвала. Молодой хлопец, двадцать с небольшим, жена и ребёнок у него. Сказали: разведчик ДНР или русский разведчик, корректировщик. Вывели во двор, стрельнули — и всё.

---

<sup>3</sup> Пункт временной дислокации.

Покидаем коммуну, идём разбитыми гаражами. К нам под ноги бросается персикового оттенка персидский кот. На газонах у разбитых домов пламенеют тюльпаны и сверкают одуванчики. Валентина находит в траве отрез ткани с узором из черепов и наворачивает на себя.

— Мариупольское сари, — шутит она сиплым, севшим голосом.

На обратном пути заворачиваем на Морской бульвар. Виталий встречает нас радостно и показывает, как они установили газовую плитку. Пока мы шарились по руинам, Юра Старец доставил им на дом эту плитку с баллоном. Виталий и его соседи так счастливы, будто Юра подогнал им, не знаю, дом на Южном берегу Крыма и огромный счёт в банке.

— Баллона этого вам на месяц-полтора хватит. Когда закончится, если не сможешь достать — обращайся, наши номера у тебя есть, — говорит Валера Виталию.

Мужчины обмениваются крепким рукопожатием. Я выхожу во двор и вижу, что побитая старая акация не только не сдохла, а даже собирается зацвести; вспоминаю что-то из курса биологии: сердцевина — это омертвевший луб, главное в дереве — луб живой, кора и камбий, древесные сосуды. Они частично целы.

Иду к дворовому некрополю, двигаюсь вдоль могил у забора. За забором — здание детского сада. Здание цело, только в его дворе сиротливо валяются игрушки и опрокинутая детская коляска — розовая, с оборочками, для девочки.

Виталий сказал мне, что детских могил в его некрополе нет. Дети — будущее, которое люди стараются брать с собой. В отличие от стариков. Можно ли ради будущего отказываться от прошлого?

— Прошу, зайдите к нам, — говорит мне Виталий, когда нам уже надо ехать.

Я послушно поднимаюсь на пару этажей. В квартире, по-своему ухоженной, несмотря ни на что, у окна стоит молодая женщина. И лежит женщина старая, практически полуживая.

— Это моя жена Юлия. И моя мама Эльза Саввишна, — говорит Виталий. — Мы не смогли её вывезти, потому и остались здесь.

Я стою, смотрю на этих людей и понимаю, что ничего так не боюсь, как старости и немощи, — настолько, что к собственной матери опоздала приехать с войны. А они ради матери с этой войны не уехали.

В последний год у мамы сели зрение и слух, начал пропадать интерес к жизни. «Меня выключают, как старенький театр после представления», — как-то сказала она. В первые месяцы после её смерти, в начале большой войны, я утешалась тем, что матери было бы не под силу вынести происходящее на этой не чужой для неё земле — и её уход был милостью к ней Господней.

Обратно мы снова едем по Морскому бульвару, где уже прошли сапёры. В траве то и дело мелькают алые таблички: «Мины». У меня же перед глазами стоит профиль моей матери в гробу — неожиданно чёткий и горбоносый. По отцовской линии её корни были из правобережной Поднепровской Украины, но ей больше нравилась материнская, из Екатеринодара: прадед-еврей, который сбежал из Бессарабии после украинских погромов, казаки и черкесы. В смерти моя мать стала похожа на черкешенку — наверное, это тот самый момент, когда человек становится окончательно равен самому себе; ну или Господь нам показывает его в последний раз таким, каким Он его всю жизнь видел, а мы не замечали.

## Конфеты

Выехав из Мариуполя в середине прошлого мая, после того как сдался гарнизон завода «Азовсталь», я не бывала в городе и не испытывала в том потребности.

После окончания боевых действий в Мариуполь приезжали певцы, журналисты и депутаты. Делали красивые кадры. Приезжали врачи, администраторы и гуманитарщики: город надо было лечить, чинить, кормить.

Из меня так себе гуманитарщик, а кадр в Мариуполе у меня всего один — я сфоткала себя на аватарку в броне, когда в первый раз заехала с «Востоком» на левый берег. Мне до сих пор немного стыдно за это фото, но другого у меня нет.

Позже мне и вовсе расхотелось делать победные фото. Позже я просто фиксировала на телефон разрушения, жертвы, дым боёв и — главным образом — слова и лица людей.

Теперь, год спустя, мы ехали в Мариуполь с питерским депутатом, философом и бывшим ополченцем Денисом в компании двух молодых

женщин: дочки его донецких друзей и питерской поэтессы, назовём её Алиса.

Когда Денис предложил эту поездку — должен же питерский человек добраться до моря и окунуть в него башку! — я поняла, что наконец готова вернуться в Мариуполь.

Без ажиотажа первых победных месяцев, когда я буду смотреть на российских вивов, фоткающихся на фоне развалин, и видеть на их месте трупы с почерневшими лицами.

У меня крепкие нервы, и война есть война, но подобного контраста хотелось избежать.

Трасса на «Марик», как говорят местные, идёт через Волноваху. Этот город брали первым, ещё до Мариуполя, бои за него я в основном пропустила. Год назад, пролетая уже южнее, мы ехали через разбитый украинский погранпост — по земле были разбросаны клочки «жовто-блакитных прапоров» и такой же расцветки наглядная агитация. Потом мы обычно ныряли под взорванный украинцами мост и вылетали уже в зелёных степях Приазовья. Было ощущение, что сама земля спорит с навязанной ей «жовто-блакитной» двуцветностью: небо над степью было иногда серым, чаще — яростно-синим, степь — ярчайше-зелёной, будто цвет этот выкрутили на максимум насыщенности, сады — бело-розовыми, воронки от разрывов — цвета, который у лошадиников называется «вороной в загаре», а море — неизменного туманно-лазоревого оттенка.

У меня и в мыслях нет эстетизировать войну, но что поделать: близость смерти обостряет наши наиболее развитые чувства, включая эстетическое.

За прошедший год война стала элементом обихода не только для донбасских военных и жителей прифронтовых посёлков; она навела свои порядки на освобождённых приграничных территориях, во множестве жизней или смертей. Обиходность войны стёрла краски, смешав их в бесконечную грязь.

При повороте на Волноваху я предложила Денису свернуть «на город»: трасса пролегает по его краю. Мы сделали небольшой крюк, уйдя к местному автовокзалу.

Автовокзал был повреждён боями, засыпан мусором. На его стене висела реклама восстановления волос. С плаката ухмылялась девица,

у которой на голове росла тропическая трава. Лицо девицы было побито осколками, как оспинами.

Алиса принялась снимать плакат с девицей, затем автовокзал. Я направилась к таксистам, дежурившим возле. Таксисты — народ специфический, но нет лучшего канала, чтобы узнать все городские слухи.

— Как у вас тут? — завела разговор, закуривая.

Мужики тоже закурили.

— Да как видите. Когда нам тут починят, а? Или только Мариуполь чинят?

За спинами таксистов возвышался рядок новеньких домов. Рядом — баннер: восстанавливает Челябинская область.

— А это что? — указала им на дома.

— А, это... капля в море. Город разбит хуже, чем Мариуполь.

Краем глаза увидела, что к Алисе подошёл боец комендатуры. Алиса с её соловыми мелированными волосами, в чёрном пальто и с блуждающим взглядом непременно должна была привлечь внимание.

— Извините, — сказала я таксистам и пошла к Алисе и «комендачу».

Парень был худой и жилистый, в балаклаве.

— Питер? — произнёс он в пространство, посмотрев наши паспорта и моё удостоверение.

— Да. А вы откуда?

— Дальний Восток, Благовещенск.

— Занесло вас...

— Да.

— Удачи. — Я протянула ему руку.

Он её пожал:

— Будьте аккуратнее.

Мы с Алисой пошли к машине. Её походка, как и взгляд, была слегка блуждающей. С тех пор как Алиса приехала в Донбасс, она почти не ела и постоянно плакала.

В Мариуполе у Дениса была задача посетить центр и искупаться на городском пляже, неподалёку от порта. Он сам в прошлом году заехал сюда в апреле с грузом гуманитарки.

Мои же основные воспоминания были связаны с левым берегом, куда я заходила с военными, откуда начались бои за город и где они продолжались дольше всего.

Мысль материальна: пока я перебирала в голове адреса по Азов-стальской улице и Морскому бульвару, Денис ошибся поворотом и уехал на левый берег.

— Ну круто... — расстроился он.

Очередь машин обратно, на мост, — большинство мостов в «Марике» взорвано отходившими украинскими войсками — тянулась на километр или более.

Машина двигалась буквально нашим прошлогодним маршрутом: сначала по этим улицам шли бои, потом — медслужба «Востока», затем несколько раз выезжала своего рода «служба спасения» при «Востоке»: нам давали адреса бедствующих или мы сами находили их, потом медики этих людей вывозили. Успевали вывезти не всех...

У меня крепкие нервы, и я не ожидала, что так накроет.

— Стой! Стой! — прокричала Денису.

«Вот здесь мы остановились тогда. Там баррикада “Азова”, она была заминирована. Там — растяжки. Вот здесь лежал труп женщины, а именно там, где мы встали, на улице за поворотом, чтобы не прилетел ПТУР, густо пахло мертвечиной...» Всё это я подумала, не сказала: пощадила чувства Алисы.

Поначалу мы зашли с ней во двор. Меж разбитыми зданиями качались сорванные провода. У двора остался чёрный с подпалинами обгорелый цвет, но исчез запах жареницы и смерти — запах, ощущаемый буквально на вкус. Алиса шаталась по двору, снимала на телефон и всё время норовила залезть на какой-нибудь мусор, который, я помнила по прошлому году, мог быть заминирован. Она буквально лезла своим телефоном в разверстыя увечья этого города.

Шла Страстная неделя.

Поведение Алисы было мне неприятно.

Я видела, что она искренна: вот-вот сядет прямо у парадной с надписью «Здесь живут люди» (жили) и заплачет. Но чем дальше мы шли, тем более странным казался мне этот исследовательский интерес к войне и горю — хоть и сама я годы назад приехала сюда отчасти из-за него.

Алиса сломалась на заброшенной детской площадке — у неё самой дома маленький сын — и позволила себя увести.

Я пошла за баррикаду и остановилась. Дальше до самой «Азовстали» чернела та самая, цвѣта «вороной в загаре», земля и зияли неглубокие

аккуратные котлованы — словно открытые могилы снесённых домов. Я называла про себя их адреса...

Из этого военные вывезли бабушку с диабетом, которую бросила дочь, собралась с внучкой и уехала, сказав: «Мама, держись». В том, подальше, мы снимали Лину Кузьминичну, даму девяноста двух лет, в меховой шапке. Она — архитектор, строила тот район, в котором жила, и его же на её глазах артиллерия разнесла в хлам. Она сказала мне тогда: «Мы ждали Путина девять лет. Почему он не пришёл девять лет назад?..» Когда я уходила, оставила ей на столе какие-то продукты, их было немного уже, мы раздали основную часть раньше, чем добрались до её дома. Среди продуктов была горсть конфет. Лина Кузьминична сказала мне: «Деточка, забери конфеты... ты молодая, тебе самой нужно». Я быстро вышла, не зная, как реагировать, и уже в проёме вынесенной двери её квартиры услышала, что она разворачивает фантик. Ей очень хотелось этих конфет, но достоинство не позволяло показать это при мне. Дальше был дом, где до подхода российских военных погибла женщина: «У неё ноги были раздроблены осколками. Все в червях уже. Её кто-то застрелил, в голову». Ещё дальше была школа, где пряталась целая коммуна мирных, там украинцы вытащили молодого парня из подвала и расстреляли в пять минут, заподозрив в нём нашего разведчика.

Я смотрю на это кладбище домов, кладбище мирных жертв и неизвестных героев и думаю словами Лины Кузьминичны: почему мы не пришли раньше?..

Мы едем в центр Мариуполя. На главной площади города — обрушенный драмтеатр и почти целый Покровский храм. В часовенке при храме идёт служба. Я захожу, думая поставить свечку Богородице — Покровительнице города, Мариуполь — это «город Марии», но взгляд мой тянет к другому лику.

Как только подхожу ближе, со стены на меня смотрит образ Архистратига Михаила.

Когда мы едем обратно, обессиленная Алиса уже даже не пытается плакать.

Денис окунул свою рыжую башку в азовскую волну и доволен, как слон после купания.

А я думаю о том, что война уже случилась и своим орудием она выбрала в том числе и меня.

Архистратиг смотрит на меня спокойно и прямо, будто говорит: не кисни и занимайся делом.

В Донецке Денис высаживает меня в районе железнодорожного вокзала. За линией рокочут прилёты. Я спускаюсь в глубокий подземный переход под путями — единственное, возможно, место в этом городе, где можно почувствовать себя в полной безопасности. Пройдя его, выдыхаю и иду в ночь: в небе висят беспилотники, в нескольких километрах грохочет линия фронта.

В воздухе витает запах гари и первой клейкой листвы.

Я шагаю свои прифронтовые километры в полной темноте; с неба смотрят звёзды и беспилотники, иногда по улице проезжает танк. Когда вхожу во двор, гремя калиткой, у соседей заходится лаем контуженная собачка. Дом окутывает меня приятным кондитерским запахом: эхо старой хозяйки, которую полгода назад убило осколком. Точно не моё: я почти не ем конфет, зато много курю.

Мне думается, что хозяйка дома была похожа на Лину Кузьминичну из Мариуполя.

Кажется, я даже слышу, как её домовой шуршит фантиками от конфет.